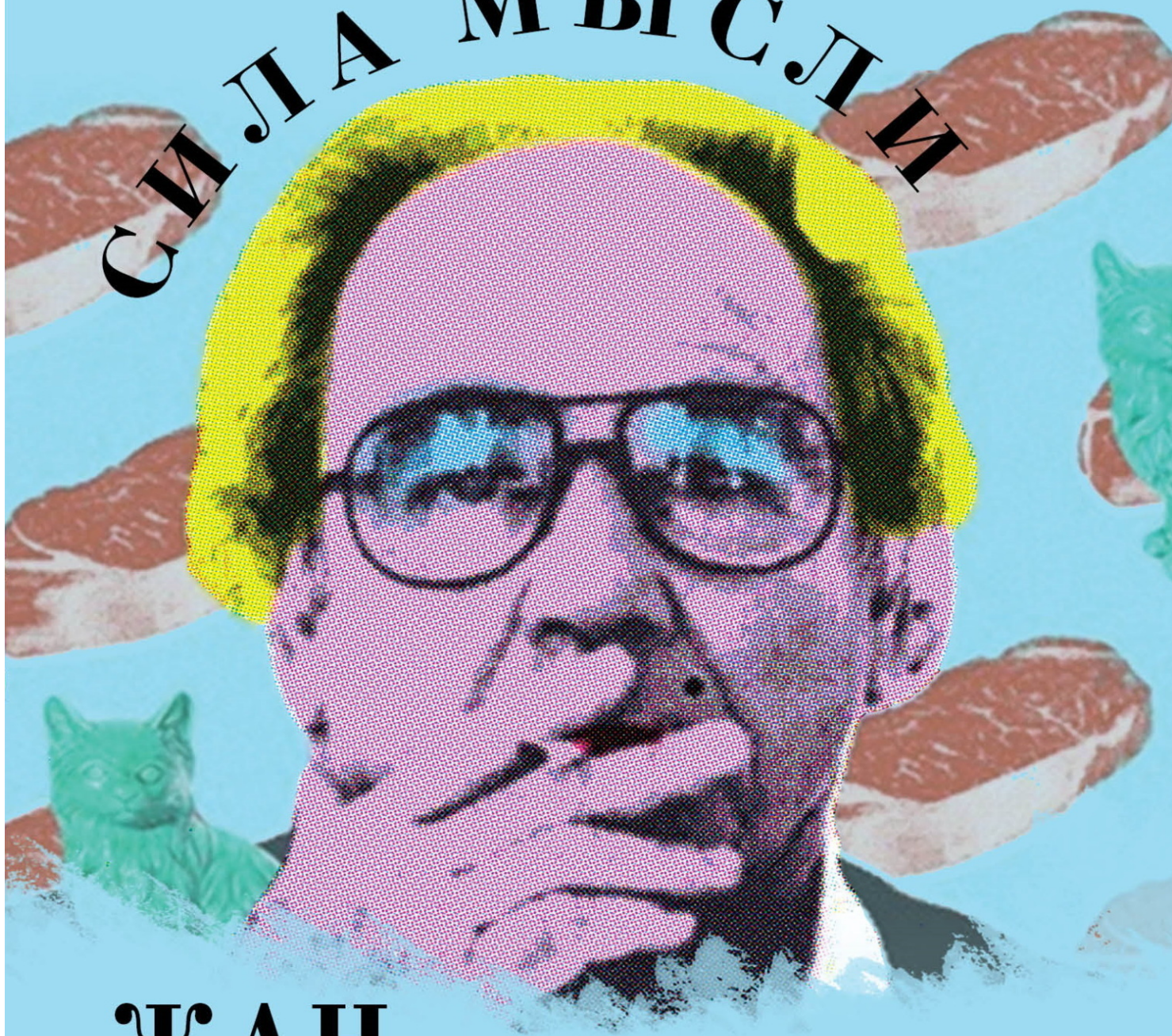


СИЛА МЫСЛИ



ЖАН
БОДРИЙЯР

ФАНТОМ

СОВРЕМЕННОСТИ

Сила мысли

Жан Бодрийяр

Фантом современности

«Алисторус»

УДК 323(470+571)

ББК 66.3(2)

Бодрийяр Ж.

Фантом современности / Ж. Бодрийяр — «Алисторус», — (Сила мысли)

ISBN 978-5-00222-041-0

Жан Бодрийяр - французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, его нередко называют «гуру» («духовным отцом») постмодернизма. Бодрийяр утверждал, что современную эпоху характеризует чувство утраты реальности, ее заменила симуляция, а все проявления окружающего мира стали не более чем «симулякрами». Совершив поездку в Америку, Бодрийяр пришел к выводу, что и эта страна превращается в симулякр, - прекрасная мечта о земле обетованной за океаном исчезла: он говорит об упадке власти, упадке могущества, о безжизненном Новом Свете, висящем в безвоздушном пространстве. Впрочем, во всей мировой цивилизации наблюдается девальвация ценностей и разрушение устоев, казавшихся незыблемыми. Что будет дальше, удастся ли остановить «обратный отсчет времени», или это фатально и необратимо, - Жан Бодрийяр отвечает на эти вопросы.

УДК 323(470+571)

ББК 66.3(2)

ISBN 978-5-00222-041-0

© Бодрийяр Ж.

© Алисторус

Содержание

Предисловие	7
Америка	8
Пустыня	8
Нью-Йорк	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Жан Бодрийяр Фантом современности



Jean Baudrillard



Жан Бодрийяр (1929 – 2007) родился в городе Реймсе в семье служащего. Ранние работы Бодрийяра были посвящены Фридриху Ницше и Мартину Лютеру. В конце 1960-х годов он сотрудничал с радикальными левыми журналами «Utopie» и «Traverses».

Однако Бодрийяр не принимал никакого участия в социальных протестах 1968 года, а по их завершении порвал с радикальным левым движением.

Он много путешествовал по странам Западной Европы, Латинской Америки и США. Результатом этого путешествия стала книга «Америка», ставшая одной из самых читаемых работ Бодрийяра.

Художник Е.В. Максименкова



© Бодрийяр Ж. (Baudrillard J.), правообладатели
© Перевод с французского Д. Калугина
© ООО «Издательство Родина», 2023

Предисловие

Жан Бодрийяр стал свидетелем эволюции «массового» общества, общества «потребления и деловитости». Он относится к тем редким философам, которые отстаивают свои взгляды не только на страницах книг или в научных дискуссиях, но и в настоящих баталиях. Он активно участвовал в революционных событиях 1968 года во Франции, находясь на левом фланге французских интеллектуалов-бунтарей, вел упорную борьбу с глобализмом и так называемым «новым мировым порядком». Книги Бодрийяра пользовались и пользуются большой популярностью среди самых широких слоев европейской общественности, не приемлющих наступления эпохи нивелированного массового сознания.

Призрачность мира на рубеже второго и третьего тысячелетия новой эры Бодрийяр считает следствием отсутствия целостного восприятия мироздания, в результате чего единство мира заменяется фрагментами, многополярностью, существованием фантомов, у которых нет подтверждения в реальности. Одним из основных терминов философского словаря Бодрийяра является понятие «симулякра», который представляет собой всего лишь симуляцию реальности, но не ее отображение, поскольку и самой-то реальности теперь нет. Единственное, что существует, это симулятивная «гиперреальность» с эмблемами, моделями и кодами.

Мир стал призрачным, и все в нем стало иллюзорным: политика, превратившаяся в «гиперполитику» или «трансполитику», экономика, ставшая «трансэкономикой», искусство, перешедшее в «трансискусство» и т. д. Все связи в этой симулятивной «гиперреальности» приобрели виртуальный характер; даже любовь и секс все больше и больше становятся очередными «симулякрами».

«Происходит взаимное заражение всех категорий, замена одной сферы другой, смешение жанров...», – пишет Бодрийяр. «Политика не сосредоточена более в политике, она затрагивает все сферы: экономику, науку, искусство, спорт... И спорт уже вышел за рамки спорта – он в бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений. Все затронуто спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного самопреодоления. Каждая категория, таким образом, совершает фазовый переход, при котором ее сущность разжижается в растворе системы до гомеопатических, а затем до микроскопических доз – вплоть до полного исчезновения, оставляя лишь неуловимый след, словно на поверхности воды».

Нормы морали и веры, категории возвышенного, «величественный императив смысла» в призрачном мире – пропадают, уходят в прошлое, заменяются «плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией».

И народа больше нет – есть массы, освобожденные от каких либо высоких идеалов. В полную силу развернулась работа «по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти, социального».

Тот кризис человеческого бытия, о котором писал еще Ясперс, достиг, по-видимому, своей высшей фазы. Бодрийяр говорит о «тошноте», ощущаемой миром людей, о болезненном состоянии этого мира, который «размножается, гипертрофируется и никак не может разродиться».

Бодрийяр уверен, что такое состояние не может длиться бесконечно. Что ждет нас дальше – вселенская катастрофа, конец света или в муках родится новый мир, будет построено новое социальное мироздание? Бодрийяр оставляет этот вопрос без ответа и не спешит делать оптимистические прогнозы на будущее.

Америка

Пустыня

Техас

Ностальгия, рождающаяся от необъятности техасских холмов и сьерр Новой Мексики: петляние по автотрассе, суперхиты в стереосистеме «Крайслера», волны раскаленного воздуха – просто в фотографии всего этого не передать, нужен целый фильм о путешествии в реальном времени, в котором запечатлелась бы и невыносимая жара, музыка, – фильм, который потом можно было бы целиком смотреть у себя, в затемненной комнате, вновь ощущая магию автотрассы и расстояния, охлажденного алкоголя в пустыне, скорости, переживая все это на видеозаписи, дома, в реальном времени – не только ради ни с чем не сравнимого удовольствия, которое мы получаем от воспоминаний, но еще и потому, что очарование бессмысленного повторения уже заключено в абстрактности путешествия. Движение пустыни бесконечно близко вневременности фильма.

Сан-Антонио

Мексиканцы служат гидами в Эль Аламо и воздают хвалу героям американской нации, которых доблестно истребляли их же собственные предки; но несмотря на все мужество последних, в конце концов каждый добился своего: сегодня их внуки и правнуки здесь, на поле битвы, прославляют американцев, укравших их землю. История хитра на выдумки. Мексиканцы, которые тайком переходят границу, чтобы найти здесь работу – тоже.

Солт-Лейк-Сити

Помпезная мормонская симметрия; всюду мрамор – безукоризненный и погребальный (Капитолий, орган Центра Посетителей). И вместе с этим лос-анджелесская современность, все необходимые гаджеты абсолютного, инопланетного комфорта.

Христианский купол (все изображения Христа здесь смахивают на Бьерн Борг, поскольку скопированы с «Христа» Торвальдсена) представляет собой симуляцию третьего уровня: религия сделалась спецэффектом. При этом весь город содержит в себе прозрачность и нечеловеческие черты внеземного объекта. Симметричная, светоносная, властвующая абстракция.

Бой электронных часов разносится по всей территории скинии, сотканной из роз, мрамора и евангелического маркетинга – такова удивительная пуританская obsessia на фоне жары, в самом сердце пустыни, возле озера с тяжелой водой, столь же гиперреальной по причине высокой плотности соли; а дальше – Великая Пустыня, где пришлось изобрести скорость современных автомобилей, чтобы победить абсолютную горизонтальность...

Но сам город – словно жемчужина, со своим чистым воздухом и урбанистическими перспективами, от которых захватывает дух и которые еще более прекрасны, чем в Лос-Анджелесе. Удивляющее великолепие и верность современному духу этих мормонов – богатых банкиров, музыкантов, всемирно известных знатоков генеалогий, многоженцев (Эмпайер Стэйт в Нью-Йорке имеет что-то общее с этим похоронным пуританством, возведенным в энную степень х.

Транссексуальная капиталистическая надменность мутантов создает магию этого города, так непохожую на магию Лас-Вегаса – огромной шлюхи на другом краю пустыни.

Великий Каньон

Геологическая, а стало быть и метафизическая, монументальность в противовес физической высоте обычных рельефов. Обращенные рельефы, изрытые ветром, водой, льдом, затягивают вас в водоворот времени, в кропотливую вечность медленно разворачивающейся катастрофы. Сама мысль о миллионах и сотнях миллионов лет, которые потребовались на то, чтобы постепенно уничтожить в этом месте земную поверхность, оказывается мыслью перверсивной, ибо она заставляет смутно почувствовать существование знаков, которые задолго до появления человека вышли из своего рода договора об изнашивании и эрозии, заключенного между различными стихиями.

К этому гигантскому нагромождению знаков, к этой чисто геологической реальности человек не имеет никакого отношения. Быть может, только индейцы и смогли истолковать малую часть этих знаков. И тем не менее все это знаки. На самом деле внекультурность пустыни только кажущаяся. Вся страна навахо, длинное плато, ведущее нас к Великому Каньону, утесы перед Долиной Памятников, пропасти Зеленой реки (секрет всего этого края скрывается, может быть, в том, что ее рельеф – это рельеф бывшего морского дна, сохранившего по выходе на поверхность свои сюрреалистические океанические очертания), – весь этот край осенен магическим присутствием, не имеющим ничего общего с природой. Очевидно, что потребовалась индейская магия и самая жестокая религия, чтобы победить такой абстрактный масштаб геологического и астрального факта пустыни и жить, соответствуя такому окружению.

Что же есть человек, если предшествующие ему знаки обладают такой силой? Человеческая раса должна изобретать жертвоприношения, равные порядку естественных катаклизмов, которые ее окружают.

И может быть, именно эти рельефы, утратившие свою естественность, и дают полное представление о том, что такое культура. Долина Памятников: внезапно возведенный массив языка, в дальнейшем подвергшийся неизбежной эрозии, тысячелетние осадочные образования, глубина которых явилась результатом эрозии (смысл рождается из эрозии слов, значения – из эрозии знаков) и которые сегодня обречены, как и вся культура, стать заповедником.

Солт-Лейк-Сити: мировые генеалогические архивы, оберегаемые в глубине гротов пустыни мормонами, этими богатыми пуританами-конкистадорами, и Бонвильская трасса, пролегающая по девственно чистой поверхности пустыни, на которой, развиваются самые высокие скорости в мире. Происхождение рода подобно глубине времени, а скорость звука – чистой поверхностью.

Аламогородо: первое испытание атомной бомбы среди Белых Песков, бледно-голубые очертания гор и сотни миль белого песка – ослепляющий неестественный свет бомбы против ослепляющего света земли.

Торреа Каньон: Институт Солка – святыня ДНК и всех лауреатов Нобелевской премии по биологии, здесь, в этом здании из белого мрамора, которое своей архитектурой напоминает дворец Миноса и обращено в безбрежность Тихого океана, возвращается будущая ученая элита...

Это поразительное место, высшие сферы воплощенного вымысла. Возвышенная и трансполитическая зона инопланетного мира, где совпали нетронутое геологическое величие земли и сложнейшие технологии – ядерная, орбитальная, информационная.

* * *

Я искал звездную Америку, Америку бесплодной и абсолютной свободы freeways, и никогда – Америку социальную и культурную, Америку скоростей пустыни, мотелей и каменистой поверхности, и никогда – Америку глубинную, Америку менталитета и нравов. В стремительной смене картин, в безразличном свечении телевизора, в чередѣ дней и ночей, проносѣщихся сквозь пустое пространство, в чудесной безаффектной последовательности знаков, образов, лиц, ритуалов автотрассы я искал то, что ближе всего к той ядерной и вылущенной вселенной, в которую, возможно, вплоть до европейских хижин, превратилась наша вселенная.

Я искал будущую социальную катастрофу в той, что произошла в геологии, в этом выворачивании глубины, о котором свидетельствуют изборожденные пространства, нагромождения солей и камня, каньоны, в которых исчезают окаменевшие потоки, древняя пропасть медлительности, которую создают геологические процессы; я искал это даже в вертикальности мегаполисов.

Об атомном характере этой будущей катастрофы я знал еще в Париже. Но для того чтобы понять это, необходимо отправиться в путешествие, которое реализует то, что Вирилио называет «эстетикой исчезновения».

Ибо, вырастая на глазах, ментальный образ пустыни представляет собой очищенную форму социального дезертирства. Дезаффектация здесь находит совершенную форму в неподвижности. Холод и мертвенность, заключенные в дезертирстве или социальной энуклиации, здесь, в зное пустыни, обретают свой зримый образ. В поперечности пустыни, в иронии геологии трансполитическое обрѣтает свое родовое и ментальное пространство. Бесчеловечность нашего запредельного, асоциального и поверхностного мира сразу же находит здесь свою эстетическую и экстатическую форму. Ибо пустыня – это всего лишь экстатическая критика культуры, экстатическая форма исчезновения.

Значение всех пустынь состоит в том, что они в своей иссушенности оказываются негативом земной поверхности и наших цивилизованных установок. Это место, где рассеиваются страсти, и где прямо от созвездий, настолько чист воздух, нисходит звездное влияние. Может быть, даже существовала определенная необходимость, чтобы индейцы были истреблены, вследствие чего, приоткрылись предшественники более великие, чем человек: минералы, геологические процессы, звездность, нечеловеческая искусственность, сушь, изгоняющая искусственные крупницы культуры, и такая тишина, которой нигде в мире больше не существует.

Тишина пустыни одновременно и визуальна. Она создается протяженностью взгляда, который не находит для себя ничего, на чем бы он мог сосредоточиться. В горах вообще не может существовать тишины, поскольку горы кричат своими очертаниями. К тому же, чтобы тишина существовала, необходимо, чтобы и время стало в каком-то смысле горизонтальным, чтобы не существовало никакого отзвука времени в будущем, чтобы остались лишь оседание геологических пластов и исходящий от них каменный гул.

Пустыня: светоносные и окаменевшие сплетения нечеловеческого разума, предельного безразличия – не только неба, но и колебания земных пластов, где кристаллизуются одни метафизические страсти пространства и времени. Здесь ниспровергаются границы желания: каждый день и каждая ночь уничтожает их. Но подождите, пусть наступит утро и вместе с ним проснется каменный гул, пробудится животная тишина.

Скорость создает чистые объекты, и сама по себе она также является чистым объектом, поскольку устраняет поверхность и территориальные референции, ускоряет течение времени, стремясь к его полной отмене, поскольку движется быстрее, чем ее собственное основание, и ускоряет движение, чтобы это основание уничтожить. Скорость – это победа следствия над причиной, триумф мгновения над временем как глубиной, триумф поверхности и чистой

объектности над глубиной желания. Скорость создает инициационное пространство, которое может нести в себе смерть и единственный закон которого – стирание следов.

Торжество забвения над памятью, безоглядное опьянение, амнезия. Поверхностность и обратимость чистого объекта в чистую геометрию пустыни. Движение создает своего рода невидимость, прозрачность, внеположенность вещей пустоте. Это своего рода замедленное самоубийство посредством истощения форм, упоительный вид их исчезновения. Скорость не вегетативна, она располагается ближе к миру минералов, к преломлению света в кристалле, и сама по себе оказывается местом катастрофы и поглощения времени. Но, может быть, ее очарование – только лишь очарование пустоты, тогда как соблазняет только тайна. Скорость – инициационное пространство пустоты: ностальгия по возвращению неподвижности, обратная сторона возрастания подвижности. Что-то вроде ностальгии по живым формам в геометрии.

Однако здесь, в этой стране, существует сильный контраст между возрастающей абстракцией атомного универсума и первичной, внутренней, неудержимой витальностью – проистекающей не из укорененности, а из искорененности – метаболической витальностью как в сексе, так и в работе, в телах или дорожном движении.

* * *

В сущности, Соединенные Штаты со своим пространством, со своей чрезвычайной технологической изощренностью и простодушием, включая и те пространства, которые они открывают для симуляции – единственное реально существующее первобытное общество. И все очарование состоит в том, что можно путешествовать по Америке как по первобытному обществу будущего, обществу сложности, смешанности, все возрастающей скученности, обществу жестоких, но прекрасных в их внешнем разнообразии ритуалов, обществу непредсказуемых последствий тотальной метасоциальности, очаровывающего своей имманентностью, и в то же время – обществу без прошлого, которое можно было бы осмыслить, а значит, подлинно первобытному... Первобытность проникла в этот гиперболический и нечеловеческий универсум, который ускользает от нашего понимания и далеко превосходит свои собственные моральные, социальные и экологические основания.

Только пуритане могли изобрести и развить эту экологическую и биологическую мораль самосохранения и, соответственно, мораль расовой дискриминации. Все становится сверхзащищенным природным заповедником, столь опекаемым, что сегодня говорят о денатурализации Йосемитского национального парка и необходимости его возвращения природе, как это произошло с племенем тасади8 на Филиппинах. Пуританская одержимость истоками характерна именно там, где больше не существует территории. Одержимость нишей, контактом там, где в действительности все происходит при равнодушном попустительстве звезд.

В обыденности искусственных парадизов, если только они охватывают всю вне-культуру, есть что-то похожее на чудо. В Америке именно пространство порождает разгул обыденности suburbs⁹ и funkеу towns.¹⁰ Пустыня находится повсюду и спасает незначимое. Пустыня, где чудо автомобиля, льда и виски совершается постоянно: чудо удобства, смешанное с фатальностью пустыни. Собственно американское чудо непристойности: тотальная свобода, прозрачность всех функций пространства, которое тем не менее неупразднено в своей протяженности и может быть побеждено только скоростью.

Американское чудо: чудо общенного

Метаморфические формы и есть то, что можно назвать магией. Так, это не обычный лес, а лес окаменелостей, минералогический. Это и соляная пустыня, которая белее снега, горизонтальнее моря. Эффект монументальности, геометрии, архитектуры там, где ничего не было

задумано или помыслено. Каньонслэнд, Сплит Маунтин. Или наоборот: аморфный рельеф без рельефа, грязевые холмы (Мад Хиллс), сладострастный и окаменевший, лунный рельеф древнего морского дна в монотонных разводах. Белая зыбь Белых Песков...

Для того чтобы устранить живописность природы, необходима эта сюрреалистичность элементов, чтобы отменить естественную живописность движения, необходима эта метафизика скорости.

В действительности концепция путешествия без цели и, следовательно, без конца выстраивается лишь постепенно. Отказаться от туристических аватар, разглядывания красот, достопримечательностей, самих пейзажей (остается лишь их абстракция в призме летнего зноя). Нет ничего более чуждого чистому путешествию, чем туризм и досуг. Именно поэтому оно как нельзя лучше реализуется в экстенсивной обыденности пустынь или столь же пустынной обыденности метрополий, которые воспринимаются не как место удовольствий или средоточия культуры, а только лишь телевизуально, как сценарии. Именно поэтому, будучи эйфорической формой детерриторизации тела, такое путешествие лучше реализуется при исключительной жаре. Возрастание движения молекул при высокой температуре приводит к незаметному улечиванию смысла.

Если оставить изучение нравов, то в расчет принимается только лишь безнравственность преодолеваемого пространства. Эта безнравственность, да чистое расстояние, да освобождение от социального – вот что имеет значение. Здесь, в самом высоконравственном обществе, безнравственны пространства. И этот имморализм, который делает расстояние легким, а путешествие бесконечным, освобождает мышцы от усталости.

Движение – зрительная форма амнезии. Все, что возникает – стирается. Конечно существуют первый шок от пустыни и ослепление Калифорнией, но когда все это проходит, путешествие словно вспыхивает с новой силой; с новой силой возникает непомерное, неизбежное расстояние, бессчетность лиц, безмянных просторов или чудесных геологических образований, которые, сохраняя образ разрушений, в конечном счете не являются свидетельством чьей-то воли. Это путешествие не допускает никаких сбоев: когда оно спотыкается о знакомое лицо, привычный пейзаж или попытки расшифровки виденного, все его очарование улечивается – амнезическое, аскетическое и асимптотическое очарование исчезновения уступает место аффекту и светской семиологии.

Существует внутреннее возбуждение, характерное для такого рода путешествий, и, соответственно, определенный тип усталости. Своего рода лихорадка, вызванная чрезмерной жарой, скоростью, избытком увиденных, воспринятых, покинутых, забытых вещей. Успокаивание тела, утомленного пустотой знаков, функциональными движениями, ослепительным сиянием неба и сомнамбулическими расстояниями – протекает очень медленно.

По мере того как культура, наша культура, утрачивает плотность, вещи внезапно делаются легкими, И эта изобретенная американцами зрительная форма цивилизации – форма эфемерная и столь близкая к беспамятству – неожиданно оказывается более близкой к правде, к единственной в своем роде правде жизни, которая нас подстерегает. Форма, преобладающая на американском Западе, и, вероятно, во всей американской культуре – форма сейсмическая: это расчлененная, промежуточная культура, вышедшая из разломов древнего мира, культура тактильная, хрупкая, непостоянная, поверхностная – и, чтобы уловить ее игру, нужно двигаться, соблюдая эти правила: сейсмический сдвиг, экологически чистые технологии.

* * *

В этом путешествии передо мной встает лишь один вопрос: насколько далеко можно зайти в истреблении смысла, до какого предела можно двигаться в безреферентной форме

пустыни, не рискуя при этом лопнуть, как мыльный пузырь, и, конечно же, сохраняя при этом эзотерическое очарование исчезновения?

Теоретический вопрос в данном случае материализуется в объективных условиях путешествия, которое уже путешествием не является и подчинено основополагающему правилу: правилу точки невозвращения. В этом вся суть вопроса. И решающий момент наступает тогда, когда внезапно становится очевидно, что оно не имеет конца, и что у него вообще нет основания закончиться.

За определенной точкой меняется само движение. Движение, которое само по себе проходит сквозь пространство, оказывается поглощенным самим пространством: конец сопротивления, конец собственно сцены путешествия (точно так же реактивный двигатель, не имеющий больше энергии для покорения пространства, но толкающий себя вперед, создает перед собой пустоту, которая поглощает его, вместо того, чтобы, в соответствии с традиционной схемой, найти опору в сопротивлении воздуха).

Таким образом достигается центробежная эксцентричная точка, в которой движение производит пустоту, которая вас и поглощает. Этот головокружительный момент есть в то же время и момент потенциальной слабости. Она не вызвана усталостью от расстояний и жарой, это не результат движения в реальной пустыне пространства; она возникает из-за необратимого движения в пустыне времени.

Нью-Йорк

Миннеаполис

Воздухоплавающий миссионер безмолвующих большинств и фатальных стратегий, с кошачьей ловкостью прыгающий из одного аэропорта в другой; сегодня – это лес огней Нью-Хэмпшира, мгновенный отблеск в зеркале Новой Англии, вчера – это плавная вертикаль небоскребов, завтра будет Миннеаполис с названием столь благозвучным, состоящим из паутинообразной цепочки гласных, полугреческих, полуиндейских, которые напоминают очертания сверкающих ледников на горизонте обитаемого мира...

Говоря о молчании масс и конце истории, вбирая необъятность и лучезарность озера, веет нестихающий ветер, стремясь на восток, где исчезает ночь. Самолеты бесшумно, как ветер, проносятся за окнами отеля, и первые рекламы постепенно начинают зажигаться над городом. Как чудесна Америка! На всем печать бабьего лета, прелесть которого – в ожидании первого снега. Но где же десять тысяч озер, где же утопия эллинистического города, граничащего со Скалистыми горами?

Эх, Миннеаполис, Миннеаполис! После патрицианской изысканности и женственной мягкости бабьего лета в Висконтине Миннеаполис предстает лишь бесцветным сельским конгломератом, ожидающим зимы и холодов посреди своего силоса и охотничьих угодий, которые составляют предмет здешней гордости. Но в сердце этой американской глубинки находится бар «Коммодор» с самым прекрасным оформлением в мире, куда, как рассказывают, каждый вечер заходил выпить Фитцджеральд.

Теперь здесь пью и я. Завтра на самолете я перенесусь в другой предел поверхностного, расового, эстетического и господствующего края, одновременно наследующего Афинам, Александрии, Персеполю – в Нью-Йорк.

Нью-Йорк

Днем и ночью количество сирен возрастает. Машины мчатся быстрее, реклама более агрессивна. Проституция, как и электрический свет, повсеместна. И игра, все игры становятся более напряженными. Так бывает всегда, когда приближаешься к центру мира. Но люди улыбаются, они улыбаются все больше и больше, никогда друг другу, всегда самим себе.

Ужасающее разнообразие лиц, их странность, на всех застыло непостижимое выражение. Маски, которые в архаичных культурах изображают старость или смерть, здесь – у молодых, в двадцать, в двенадцать лет. Но в этом есть что-то общее с самим городом. Красота, которую другие города достигают в течение столетий, здесь сформировалась за пятьдесят лет.

Дымчатые стекла уличных фонарей напоминают купальщиц, которые выжимают свои волосы. Шевелюры в стиле афро или прерафаэлитов. Банально, многорасово. Город фараонов, весь в обелисках и указателях. Здания вокруг Центрального Парка, словно опорные арки – необъятный парк принимает благодаря им вид висячего сада.

В вышине плывут не облака, а мозг. Облака, подгоняемые ветром, скользят над городом, как полушария головного мозга. В головах людей – перистые облака, которые выплывают через их глаза как вязкие испарения, поднимающиеся от изрытой теплыми дождями земли. Сексуальное одиночество облаков в небе, лингвистическое одиночество людей на земле.

Поражает количество людей, которые думают в одиночестве, которые поют одни, едят одни или разговаривают сами с собой на улицах. Они, тем не менее, никак не пытаются объединиться. Напротив, они избегают друг друга, и сходство между ними неопределенно.

Но каждое отдельно взятое одиночество не похоже на другое. Одиночество человека, который, примостившись у стены, на капоте машины, около решетки, готовит у всех на виду себе пищу – единственное в своем роде. Здесь это встречается повсюду: самая печальная сцена в мире, она печальнее, чем нищета; тот, кто на людях ест в одиночестве, еще печальнее, чем тот, кто собирает милостыню. Ничто так не противоречит законам человеческим и животным: животные всегда с гордостью делят добычу или сражаются за нее. Тот, кто ест в одиночестве, – мертв (но не тот, который пьет один, почему?).

Почему люди живут в Нью-Йорке? Они никак не связаны между собой. Их объединяет разве что внутренняя наэлектризованность, происходящая от их скученности. Магическое ощущение смежности и притяжения во имя искусственной централизованности. Вот, что создает самопритягивающийся универсум, покинуть который никто не имеет достаточных оснований. Кроме этого экстаза скученности нет никаких человеческих оснований находиться там.

Красота черных и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Помимо сексуального возбуждения, которое создает смешение рас, необходимо сказать, что черное, пигмент темных рас, оказывается как бы естественным гримом, который усиливается искусственным гримом для создания красоты – не сексуальной, а животной и возвышенной, которой так безнадежно не хватает бледным лицам. Белизна является как бы измождением физической красоты, нейтральностью, которая, может быть, благодаря этому получает всю экзотерическую власть Слова, но которой, в сущности, всегда пренебрегает эзотерическое и ритуальное могущество искусства.

В Нью-Йорке существует двойное чудо: каждое из больших зданий властвует или когда-нибудь властвовало над городом; каждый этнос царит или однажды царил – и те, и другие делают это по-своему. Скученность придает блеск каждой из этих составляющих, тогда как в других местах она ведет просто к сглаживанию различий. В Монреале существуют все эти элементы – этносы, здания, североамериканское пространство, но не хватает того блеска и силы, которое свойственно городам Соединенных Штатов.

В Европе тучи только напрасно скрывают от нас небо. В сравнении с безграничными небесами Северной Америки, с их тучами, наше крохотное небо со своими облачками и наши тучки являют собой образ нашего низкооблачного мышления и никогда – мышления пространством. В Париже небо никогда не отрывается от земли, оно не парит, оно дано как бы в обрамлении хилых зданий, которые заслоняют друг друга, как мелкая частная собственность, вместо того чтобы отражать друг друга в головокругительных зеркальных фасадах, как в великой столице Нью-Йорк...

И вот, что начертано в небесах: Европа никогда не была континентом. Но как только ваша нога коснется Северной Америки, вы сразу ощутите присутствие целого континента: там пространство – это само мышление.

В сравнении с даунтауном и ансамблем американских небоскребов Ля Дефанс уже не производит архитектурного эффекта вертикальности и необъятности, сжимаясь всеми своими зданиями до пространства итальянской сцены, являя собой закрытый театр, окруженный бульваром. Что-то вроде французского сада: букет зданий, опоясанный лентой. Это противоречит возможности американских монстров, порождающих до бесконечности себе подобных, бросать друг другу вызов в пространстве, которое благодаря этому состязанию обрело драматизм (Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Сиэтл, Торонто). Здесь рождается чистый архитектурный объект, ускользающий от архитекторов, объект, который, в сущности, категорически отрицает город и назначение, отрицает интересы общества и индивидуума, упорствуя в своем исступлении, и в спеси равный лишь городам эпохи Возрождения.

Не стоит очеловечивать архитектуру. Подлинная анти-архитектура вовсе не в Аркозанти или Аризоне, где в самом сердце пустыни собраны экологически чистые технологии, – нет, дикая, нечеловеческая архитектура, которая превосходит человека и не принимает в расчет никакие ниши, уют или идеальную экологию, создается только здесь, в Нью-Йорке. Она использовала высокие технологии, она преувеличила все размеры, она поспорила с небом и адом...

Эко-архитектура, как эко-общество – мягкий ад Нижней Империи.

Чудо современного сноса зданий. Это вывернутое наизнанку зрелище запуска ракеты. Двадцатипятиэтажное здание целиком, вертикально, скользит к центру земли. Оно оседает прямо, как манекен, не теряя своего вертикального положения, как если бы спускалось по трапу, и находящаяся под ним земная поверхность поглощает его обломки. Вот чудесное искусство современности, с которым могут сравниться только лишь фейерверки из нашего детства.

Говорят: в Европе улица живая, а в Америке – мертвая. Это неправда. Нет ничего более напряженного, более наэлектризованного, более витального и более подвижного, чем улицы Нью-Йорка. Толпа, уличное движение, реклама оккупируют улицу то агрессивно, то развязно. Улица заполнена миллионами слоняющихся, равнодушных, агрессивных людей, которым словно больше нечем заняться – возможно, они действительно нужны только для того, чтобы творить сценарий повседневной жизни города. Повсюду музыка, интенсивное движение, сравнительно быстрое и бесшумное (оно совсем не похоже на нервное и театральное движение по-итальянски). Улицы, авеню никогда не пустеют, но ясная и раскованная геометрия города непохожа на артериальное переплетение европейских улочек.

В Европе улица живет лишь урывками, в исторические моменты, революции, на баррикадах. В другое время люди проходят их быстро, по ним никто не бродит (никто не прохаживается). Они сродни европейским машинам: никто в них не живет, для них не хватает пространства. Недостает пространства и городам – или, скорее, это пространство считается общественным, ему присущи знаки публичной сцены, что не позволяет двигаться по нему как по пустыне или безразличному пространству.

Американская улица, может быть, и не знает исторических моментов, но она всегда оживлена, витальна, кинетична и кинематична, по образу и подобию самой страны, где мало принимается в расчет собственно историческая и политическая сцена, но где перемены, как бы они ни обеспечивались технологиями, расовыми различиями, масс-медиа, распространяются с силой вирусной инфекции: это сама сила образа жизни.

В Нью-Йорке коловращение жизни настолько сильно, центробежная сила так велика, что кажется чем-то сверхъестественным думать о жизни вдвоем, о том, чтобы разделить еще чью-то жизнь. Способны выжить только различные сборища, банды, мафия, общества посвященных или извращенцев, но не семейные пары. Это своего рода анти-ковчег, полная противоположность тому, в котором было собрано каждой твари по паре, чтобы спасти животные виды от потопа. Здесь, в этом волшебном ковчеге, всех по одному и каждый вечер этим одиночкам надо искать последних уцелевших для последнего пати.

В Нью-Йорке сумасшедшие свободны. Выпущенные на улицы, они не так уж отличаются от панков, джанков, торчков, алкоголиков, нищих, которые его заполняют. Непонятно, с чего бы вдруг город, столь же безумный, стал бы держать своих сумасшедших взаперти, зачем ему лишать перемещения этих образчиков безумия, если оно, в той или иной форме, уже захватило весь город.

Гимнастика в стиле рэп – это своего рода акробатическое геройство, где только в конце становится ясно, что это танец, в тот момент, когда танцор застывает в апатичной, безразличной позе (локоть на земле, голова небрежно опирается на ладонь: поза, напоминающая изображения на этрусских гробницах). Эта внезапная неподвижность заставляет вспомнить китайскую оперу. Но китайский воин застывает в высшей точке действия, в героическом жесте, тогда как рэппер – в истощенности своего движения, в жесте ничтожном. Можно сказать, что, скру-

чиваясь спиралью и завязываясь в узел на уровне земли, рэпперы создают пустоту внутри своего тела, в глубине которой они принимают ироническую и ленивую позу смерти.

Никогда бы не подумал, что нью-йоркский марафон способен вызвать слезы. Это зрелище конца света. Можно ли говорить о добровольном страдании, как о добровольно взятой на себя обязанности? Они бегут под проливным дождем, под вертолетами, под аплодисментами, в своих алюминиевых капюшонах, постоянно поглядывая на хронометр, бегут полуобнаженные, закатив глаза, ища смерти, смерти через истощение, которая напоминала бы смерть того, кто умер десять тысяч лет назад, и кто, не стоит этого забывать, принес в Афины весть о победе.

Может быть, они тоже мечтают принести победную весть, только теперь она будет посланием слишком многих и не будет иметь уже никакого смысла: это будет весть о самом их прибытии, весть, венчающая их усилия – сумеречное сообщение о сверхчеловеческом и бесполезном усилии. Все вместе они, скорее, принесли бы весть о конце человеческого рода, ибо видно, как он вырождается с приближением к финишу – от первых, хорошо сложенных, которые еще могут бороться, до совершенно выдохшихся, которых друзья буквально несут к финишной черте, и калек, которые тащатся на своих инвалидных креслах. Их – бегущих – 17 тысяч, и это напоминает настоящую битву при Марафоне, где даже и не было 17 тысяч сражающихся. Их 17 тысяч, и каждый бежит сам по себе, не думая о победе, бежит только ради того, чтобы ощутить свое существование.

«Мы победили!» – шепчет, испуская дух, вестник из Марафона. «I did it!»,¹³ выдыхает измученный марафонец, падая на лужайку Центрального Парка.

I did it!

Лозунг новой разновидности рекламы, аутистического шоу, чистой и пустой формы, вызова самому себе, который заменил прометеевский экстаз соревнования, старания и успеха.

Нью-йоркский марафон стал своего рода интернациональным символом этого фетишизированного представления, горячки бессмысленной победы над пустотой, экзальтации бессмысленного геройства.

Я бежал в нью-йоркском Марафоне: I did it!

Я взошел на Аннапурну: I did it!

Высадка на Луне это тоже самое: We did it! Событие, в сущности, не столько захватывающее, сколько запрограммированное развитием науки и прогресса. Надо было это сделать. И мы это сделали. Но это событие не разбудило тысячелетнюю мечту человека о пространстве, оно в каком-то смысле исчерпало ее. Тот же эффект бесполезности заложен в реализации любой программы, как во всем, что делается ради того, чтобы доказать, что мы могли это сделать: дети, покорения вершин, сексуальные подвиги, самоубийство.

Марафон – это демонстративная форма самоубийства, форма его рекламы: бегут для того, чтобы доказать, что мы способны дойти до конца самих себя, чтобы доказать... но доказать что? Что в состоянии дойти. Граффити тоже не говорят ничего другого, кроме как: «Меня зовут так-то, и я существую!» Граффити делают экзистенции бесплатную рекламу!

Но надо ли постоянно доказывать, что ты живешь? Странный знак слабости, предвестник нового фанатизма, знак представлений без лиц, демонстрирования без конца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.